

Двойная фамилия

Автор:

Дина Рубина

Двойная фамилия

Дина Ильинична Рубина

Желание выпрыгнуть из навязанных обстоятельств жизни преследовало меня с детства. Может быть, отсюда – неукротимое сочинительство, страсть к хотя бы воображаемым превращениям души, пронзительное желание убежать, исчезнуть, оказаться в другом – времени, доме, городе, народе, пространстве, – с другими чувствами.

Вечная двойственность, постоянное проигрывание еще одного сюжета: «А что, если это было не так, а так?.. Или вот так?» – двойные пути, двойные ходы, двойные имена и фамилии...

Дина Рубина

Двойная фамилия

А в чем, собственно, дело, сказал я ему, чем тебя смущает моя двойная фамилия?

В конце концов, твою я взял, вот она, красуется в паспорте, вполне благозвучная, – Воздвиженский. Хоть поклоны бей. А? Я говорю – хорошая, звучная, церковнославянская...

Ты смотри на дорогу, сказал я ему, а то мы в дерево врежемся...

Да, мамина не такая звучная, но, понимаешь, меня все-таки мать воспитывала. Да если хочешь знать, сказал я ему, я б и фамилию Виктора себе присобачил, только боюсь, что на строчке не поместится. И потом, тройную уже вряд ли кто запомнит. Особенно в армии, представляешь, как меня из строя вызывать или на гауптвахту сажать? Так что не переживай, сказал я ему, вполне прилично: Крюков-Воздвиженский.

Не дуйся, что тебе – тесно? Неуютно?.. Почему – глупо? А Голенищев-Кутузов, сказал я ему сразу, а Лебедев-Кумач, а Борисов-Мусатов, а Римский-Корсаков? А Семенов-Тянь-Шанский, а Мусин-Пушкин? Ну?

Да, я начитался, сказал я ему. Есть такая слабость. Вот именно, не порок. И даже, как принято считать, – достоинство...

...Ну конечно, изменился, сказал я ему, мы ж три года не виделись. Я ж расту, па, сказал я ему, я в принципе живу дальше...

И пусть тебя моя двойная фамилия не тревожит. На Западе, знаешь, почти у каждого человека двойное или даже тройное имя. Почему это тебе плевать на Запад, поинтересовался я, плевать никуда и ни в кого не следует, па, это некрасиво. А то плюнешь, сказал я ему, и попадешь ненароком в Эриха Марию Ремарка, или в Федерико Гарсиа Лорку, или в Габриэля Гарсиа Маркеса. Будет неловко... Запад люблю? Конечно, люблю, па, я все люблю: и Запад, и Восток, и Юг, и Север.

Я не дер-зю, сказал я ему, я поле-мизи-рую. И потом, у меня ж переходный возраст еще не кончился, так что не расстраивайся.

Да ты смотри на дорогу, сказал я ему, мы же о столб шмякнемся!

...Ой, не спрашивай, не бреди открытую рану. Еле переполз. По алгебре трояк, по физике – переэкзаменовка. Мать надеется, что за лето ты со мной подзанимаешься. Думаю, это был решающий момент в пользу моей поездки к тебе. Ты же знаешь, сказал я ему, она всегда косо смотрела на эти поездки.

По химии тоже трояк, но более жизнеспособный...

Знаешь, сказал я ему, сам удивляюсь, в кого я такой тупой? Все-таки мать – конструктор, баба толковая, ты у меня вообще: не кот начихал, изобретатель с медалями, три кило патентов. А я как увижу эти ряды формул, так мне тошно становится, вот здесь, под ложечкой. Упрусь взглядом в цифры и ничего не хочу понимать. Организм протестует. Ну почему я должен ползти к этому дурацкому аттестату, почему?!

По сути дела, сказал я ему, происходит многолетнее насилие над человеческой личностью... Как – над чьей? Над моей, конечно! Чего ты смеешься? Это очень серьезно. У меня надорванная психика.

Ну, по литературе, по истории пятерки, конечно, сказал я ему, а что толку? Недавно доклад сделал, историчка просила: «Отражение истории Российского государства в полотнах русских художников». Да, ничего вроде получилось. Бегло, конечно, очень общо, сказал я ему, разве можно такую тему за полтора часа охватить... Репродукции Виктор дал, это ж его хлеб, у нас тьма альбомов дома.

Устроили, конечно, из этого мероприятие, согнали три девятых класса, историчка сидела на задней парте и тихо млела – ей же это засчитывается за внеклассную работу. А вообще, па, все это чепуха, сказал я ему...

Ни за что! Делать из этого профессию? Быть, как Виктор, каким-нибудь искусствоведом или литературоведом? Да ты что, па, ты меня не уважаешь, сказал я ему. Всю жизнь насиловать искусство только потому, что у меня неплохо подвешен язык и я прилично разбираюсь в живописи?.. Нет уж, спасибо. Существовать в искусстве достойно можно, только создавая что-то свое. А понимание – это всего лишь неплохие мозги, разве можно понимание искусства делать профессией? И потом, я как услышу это слово – искусствовед, мне смешно становится. Представляю себе такого типа, который искусством ведает, вроде завхоза со связкой ключей. Нет и нет!

А талантов, сказал я ему, никаких за мною не водится, увы...

А никем не хочу... Нет, правда, никем не хочу быть. Ну, ты меня серьезно спрашиваешь, а я серьезно отвечаю.

Нет, ты не так понял. Не в смысле плевать в потолок. Не хочу всю жизнь быть к чему-то привязанным: к месту работы, к такой-то квартире по такому-то адресу, к такой-то женщине, записанной в моем паспорте. Это, по сути дела, крепостное право... Как представляю? А вот как, сказал я ему: я – свободен, совсем, передвигаюсь куда хочу, когда хочу и как хочу, зарабатываю необходимый минимум на хлеб, картошку и книги как получится – где вагон разгружу, где на прополку овощей наймусь... У нас такая личность называется «бич» и преследуется законом, а вот во Франции очень принято, например, наняться на сезон в Голландию – тюльпаны сажать.

Ну что ты заладил, па, сказал я ему, «Смотришь на Запад!». Я кругом смотрю, не только на Запад. Я смотрю вокруг себя, сказал я ему, а не только в указанном направлении, хотя мне с детства направление пытались указывать все кому не лень. Родители – еще туда-сюда, куда их денешь, сказал я ему, но вот тебя хватают за шиворот, суют в общий вагон, и всех в одном направлении: сначала октябрятская звездочка, потом дружный коллектив класса, потом комсомольская ячейка института, и так до конца жизни. Ой-ой-ой, испугал: единоличник! Надеюсь, сказал я ему. Надеюсь, что я – единоличник. Все, что сделано в искусстве и науке, сделано единоличниками.

Ну ладно, сказал я ему, не пугайся. У тебя, па, вид такой обескураженный. Думаешь, наверное, что я попал в лапы наших врагов. Мало ли чего я болтаю, сказал я ему, возраст такой, переходный, и три года мы не виделись. Ты меня здесь за лето обстругаешь и отполируешь до зеркального блеска. Смотри на дорогу... Грузила новые купил? Молоток... Помнишь на Голубых озерах цаплю, похожую на твоего Кирилл Саныча! Ох, умора! Па, а правда, у меня совсем уже бас установился? Почему это – баритон? Бас, бас, сказал я ему, натуральный бас. Нас с Виктором почему-то путают по телефону, говорят – голоса похожи. По-моему, совсем не похожи... При чем тут Виктор?

Дома как? Нормально дома... Мама? Ну ты же знаешь, сказал я ему, мама всегда больна...

...В самом деле, и чего я привязался к нему с этой двойной фамилией? Просто в тот момент, когда он с гордостью продемонстрировал новенький, словно отутюженный паспорт с этой самой фамилией-поездом, меня вдруг как обухом: он все знает!

Боже мой, как я его ждал! Как я выцарапывал его оттуда в это лето телефонными звонками, письмами, телеграммами. Я отправил на дорогу всю премию, хотя на билет хватило бы ее пятой части. До вчерашнего дня я так и не был уверен, что они отпустят его. Ведь изобретали же они причины все эти три года.

Ничего, ничего, я просто перенервничал. Все в порядке, шеф, все в полном порядке. Досадный срыв – не спал две ночи, с утра гонял на рынок за фруктами, драил свою берлогу и все время думал: теперь он взрослый парень, взрослый. Мы же три года не виделись. Он с такой щенячьей гордостью показал мне паспорт со своей двойной фамилией, черт бы меня подрал. И я вдруг глупо прицепился к нему, дурак, жалкий старый дурак!

Да, я растерялся. Хотя при чем тут двойная фамилия? Вот при чем: запахло жареным. Столько лет я частенько в мыслях жалел Виктора, да, мне в голову не приходило жалеть себя. Я так и думал этими словами: «бедняга Виктор», думал я. А тут, когда в самую точку было бы пожалеть Виктора именно сейчас, я испугался. Я понял впервые, что чувствуешь, когда тебя прошибает холодный пот.

...Ну что ж, наивно думать, что мальчик проживет всю жизнь, так и не узнав правды. Это несправедливо по отношению к нему. Когда-нибудь придется все рассказать, расставить по местам каждого из нас, разъяснить эту дикую ситуацию, разобрать по камешкам крепость лжи, возведенную для его спокойствия. И что говорить при этом? Доведись мне – что бы я сказал ему?

Видишь ли, мужик, мы лгали во имя тебя, сказал бы я ему. Ради тебя трое взрослых людей поддерживают доброжелательные отношения по телефону, договариваются о разных бытовых мелочах, обсуждают твой характер и планы на будущее, – трое взрослых, которым давно хочется забыть друг о друге...

Видишь ли, мужик, сказал бы я ему, начинать-то надо не с тебя, а с того, что восемь лет тебя не было и с каждым годом таяла надежда, что когда-нибудь ты появишься. Мама всегда была больным человеком – почки, гипертония, то-се, а главное, органы, которые предназначены для этого дела, ну, ты взрослый парень, сам понимаешь... Восемь лет...

Да, сказал бы я ему, это верно, мы неважно жили с твоей мамой. Не сразу, конечно, но наша тающая надежда теплилась, как чахоточная девочка в семье. Знаешь, это подтачивает отношения мужчины и женщины. Нет, конечно, есть семьи, прекрасно существующие без детей, но здесь другой случай.

Словом, когда надежда на твое появление совсем зачахла, тут ты и забрезжил. В один прекрасный для меня день. Врачи уверяли, что наш случай один на тысячи. И тогда я подумал: мой ребенок должен быть чертовски везучим, если ему удалось возникнуть и выжить тогда, когда это не удастся тысяче других. Мой ребенок будет счастливым, думал я, ведь ему уже повезло. И я стал ждать тебя. Я неистово ждал тебя, мужик, сказал бы я ему, для меня уже тогда ты был не смутным зреющим комочком, а конкретным человеком, личностью, уже совершившей поступок тем, что крохотной клеточкой уцепился за жизнь на краю небытия и выжил.

Знаешь, мужик, сказал бы я ему, вот тогда все изменилось у нас. Твоя мать стала вдруг очень нежна со мной. Ее обычная раздражительность растворилась в нашем общем ожидании тебя. Ну что ж, говорил я себе, значит, это правда, что женщина становится мягче и трепетнее в этот период. Ты уже взрослый парень, мужик, сказал бы я ему, бойся внезапной женской нежности. Это нежность подползающего удава, заранее жалеющего свою жертву.

У меня нет ненависти к твоей матери, мужик, сказал бы я ему. Просто у нас с ней свои счеты, и не твоего ума это дело.

Да, это правда, что я не забыл и не простил ей никогда, но – не предательства, нет – все мы слабые люди, сынок, и всякое может случиться с человеком; я не простил ей этой обдуманной нежности. И в дальнейшем я не прощал этого всем женщинам, которых встречал на своей дороге. Поэтому я один, мужик, сказал бы я ему...

...Мама? Ну, ты же знаешь – мама всегда больна, поэтому проживет дольше нас всех. Почему груб? Я не груб, сказал я ему, а критичен. Мать я люблю, она меня вырастила, просто объективно оцениваю действительность. Вот кто правда сдал в последнее время – это Виктор. Кажется, я писал тебе, что полгода назад его трахнул небольшой инфаркт? Словечко? Да брось ты, па, сказал я ему, это не хамство, я прост и суров. Ты просил рассказать, как дома, я рассказываю.

Так вот, Виктор... После этого инфаркта он постарел, как будто разом от всего устал. Он вполне приличный дядька, ты же знаешь, мы с ним всегда ладили, а в последнее время он стал угрюмый, вспыльчивый, пару раз даже стычки у нас были... Ну и что? Больной не больной, это не повод орать.

Что на днях было, к примеру: сидели мы на кухне, завтракали. Я, не помню уже по какому поводу, говорю матери, мол, что за имя вы с отцом мне выбрали – Филипп! Дура классная уже раза два острила, что мой аттестат будет филькиной грамотой. Не могли назвать каким-нибудь нормальным Сашей или Димой?

А мать мне на это, довольно мирно, между прочим, говорит: зато, мол, этих Саш и Дим в каждом классе по пять штук, а ты такой один на всю школу... Ой, па, ей-богу, смотри ты на дороге, сказал я ему, что ты каждую минуту на меня вытаращиваешься!

Так вот... А я тут и говорю ей: тогда надо было назвать меня Остеохондроз, я был бы один такой на весь земной шар. Нормально схохмил? Вот. Был бы, говорю, Остеохондроз Георгиевич Крюков-Воздвиженский... Дело в том, что, понимаешь, мать разыскала у себя новую болячку, этакую милягу – остеохондроз. Целыми днями только и слышишь: остеохондроз там, остеохондроз здесь. Он прямо как член семьи у нас поселился. Ну ты же знаешь, когда мать увлекается какой-нибудь новой болезнью, она делает это вдохновенно и с большой душевной отдачей.

Нет, ты не подумай, сказал я ему, мать я вообще-то жалею, но больше всех ее жалеет она сама. Ой, ну ладно, дай дорасскажу, потом насчет сострадания выдашь.

Только я пошутил про этот самый остеохондроз, Виктор вдруг ни с того ни с сего ка-ак шарахнет кулаком по столу и давай нести всякую ахинею: тра-та-та благодарность, ну ни к селу ни к городу, а главное, совсем не из своей оперы. Какой-то воспитательный момент из плохой телевизионной киношки. Я даже оторопел. Там и такие словеса, между прочим, мелькали, про поим-кормим-одеваем. Ну разве не гадость, па? Тем более что ты очень прилично на меня посылаешь. Я возмутился и демонстративно свой бутерброд надкушенный ему предоставил прямо под нос... Между прочим, так и уехал, не помирившись. Виктор, надо сказать, переживал и в последний день даже подлизывался слегка, хотел наладить отношения. Но я – фиг вам, я человек суровый.

Не морочь мне голову, па, почему я должен спускать несправедливость только потому, что человек себе инфаркт нагулял? Да нет, «нагулял» – это, конечно, опечатка, сказал я ему. Куда Виктору гулять при его брюшке и лысине, кому он нужен! Вот ты у меня молоток, сказал я ему, подтянутый такой, сухопарый американец. Грива седая, суровые морщины лоб бороздят. Смотрю на тебя, и мне льстит мой портрет в ста... в зрелом возрасте, я хотел сказать... Кстати, как у тебя в личном, па, без новостей?.. Ну, извини, извини, сказал я ему, главное – смотри на дорогу, мне еще жить да жить...

...Поэтому я один, мужик...

Впрочем, одну женщину неизменно вспоминаю с почтительной нежностью незнакомца.

Я даже имени ее не знал. Вообще я ничего не знал о ней. Только видел. Ночью, когда она включала лампу, чтобы покормить своего ребенка.

Ты, конечно, не помнишь нашей старой квартиры. Тесная такая двухкомнатная квартирка, какие строили лет тридцать назад. И дома строили кучно, чуть ли не впритык один к другому. Наши окна и окно этой женщины просто гляделись друг в друга.

Это было время, когда я отсчитывал дни до твоего рождения. Ты же знаешь, я люблю работать по ночам. Кофе покрепче, пачка сигарет, чертежная доска и тетрадь с расчетами – да, бывают вечера, когда за работой я чувствую себя счастливым. А в те месяцы, мужик, мне удавалось все необычайно, минутами я верил, что в своем деле способен на нечто выдающееся...

Так вот, около двенадцати тихим светом озарялось окно в доме напротив. В освещенном, без занавесок, прямоугольнике окна простоволосая женщина в сорочке двигалась по комнате медленно и сонно, как рыба в аквариуме.

Иногда, накормив ребенка, сразу укладывала его в коляску и гасила свет. А бывало, подолгу укачивала его, лунатически слоняясь по комнате. Никого другого никогда в этом окне я не видел. Женщина всегда была одна. Она и ребенок.

Сначала мне казалось странным, как при такой скученности домов она не догадалась повесить занавески, ведь вся комната с унылой железной кроватью и детской коляской просматривалась от стены до стены. Потом я понял: ей было не до того. Когда каждую ночь тебя будит голодный плач ребенка, и ты с усилием отрываешь от подушки тяжелую голову, и собственное тело кажется ватным и свинцовым одновременно, и это изо дня в день, вернее, из ночи в ночь много месяцев, – тогда, конечно, тебе абсолютно до лампочки, что там видят из окон соседи, а если и видят, то пусть катятся ко всем лешим.

Я понял это пару месяцев спустя, когда родился ты и наши окна стали зажигаться почти одновременно – на перекличку Великого Братства Кормящих. Только у меня не было такого преимущества, как благодатная грудь, полная молока. Поэтому, натываясь на косяки и поскуливая от усталости, я сначала тащился на кухню разогревать бутылочку.

Но все это было потом, сказал бы я ему, потом, после того звонка.

День, когда ты родился, когда я наконец дождался тебя... Ладно, не будем об этом, не стоит распускать слюни, мужик, а без слюней я здесь не обойдусь, сказал бы я ему. Видишь ли, мне исполнилось в тот год сорок лет. Когда мужчине стукнет сорок, это, как ты говоришь, не кот начихал. Мне было сорок лет, и я кое-что умел в своем деле, и вот у меня родился сын.

Я до сих пор помню голос женщины в справочной роддома, голос с певучим украинским растягиванием гласных: «Сы-ин у вас...»

Да, мужик, сказал бы я ему, незачем гневить судьбу – я пережил это мгновение. И целых два дня потом у меня был сын. У меня был сын, мужик, целых два дня. И я этому моему сыну успел закупить все, что требуется для счастливой жизни, – пеленки, распашонки, шапочки и замечательную коляску цвета морской волны.

А потом мне позвонили... Накануне вечером я поздно лег – до часу клеил обои в будущей твоей комнате. И всю ночь мне снилась наша эвакуация в Ташкент, черные, паленные солнцем толкучки и мама, удивительно живая и сытая. Всю ночь крутилась муторная карусель – тяжелое, давящее сердце детство, а в полвосьмого меня разбудил звонок.

– Георгий? – спросил прерывистый, торопящийся голос женщины. – Вы знаете, что ваша жена родила не от вас?

Это было продолжением дурного сна.

– Вы не туда попали, – сказал я.

– Туда! Туда! – крикнула она надрывно, толчками и, кажется, плача. – Господи, о чем вы думаете?! Вы что – считать не умеете? Жена рождает после курорта восьмимесячного ребенка на четыре кило, а муж как слепой, как дурной – ходит и радуется!

– Какой курорт? – спросил я, растирая ладонью занемевшее сердце. – Что вы мелете?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/dina-rubina/dvoynaya-familiya>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)